

История и глобализация.

ВЫЖИВЕТ ЛИ КЛИО ПРИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ?

Автор: М. А. БОЙЦОВ

История в глобальном обществе

Какое будущее ожидает историческое знание в эпоху глобализации? Точно этого, разумеется, никто предсказать не может, однако о некоторых важных тенденциях, пожалуй, уже вполне можно говорить. Главная из них (огорчительная для историков) состоит в том, что постепенно складывающийся единый мир, похоже, вообще не будет нуждаться в истории. Или, выражаясь осторожнее, он не будет нуждаться в тех видах истории, которые нам столь привычны и дороги.

Всякая историческая картина служит, как думается, прежде всего *самоидентификации определенного сообщества*, выявлению его отличия от иных. Нет истории без сообществ и нет сообществ без истории [Boytsov, 2000]. Это означает, что тот или иной образ прошлого живет лишь постольку, поскольку его "носителем" является более или менее сплоченная группа, которая складывается, выстраивая общую концепцию своего происхождения, отличающего "нас" от "чужих"¹. Памятью той или иной глубины и охвата могут в зависимости от обстоятельств обладать самые разные сообщества, например монастырь, город, княжество, империя. Но также и княжеская дружина, университетская корпорация, художественная школа, деревенская община, мафиозный клан, заводская бригада, шайка пиратов, братство последователей пророка... Как только эта память начинает "рассказываться" в устной, письменной или иной (например, сценической) форме, можно говорить об истории. Если техника фиксации такого рассказа более или менее надежна, у соответствующей картины прошлого есть шансы, антиквизировавшись, пережить "свое" сообщество и со временем, может быть, стать объектом изучения. Если нет, она пропадет бесследно, как исчезло уже множество картин минувшего, о существовании которых мы сегодня даже и не подозреваем.

На протяжении ряда последних столетий доминирующим видом сообществ, нуждавшихся в коллективном прошлом и весьма активно занимавшихся его созданием, были нации-государства. Медленно начав складываться с XIV в., они постепенно поглотили

Журнальный вариант. Полный вариант публикуется в альманахе "Казус. Индивидуальное и уникальное в истории". 2005. Вып. 7.

¹ Надобность в такой концепции становится особенно острой с того времени, когда в группу начинают объединяться не кровные родственники, связь которых между собой обычно подразумевается. Не случайно многие архаические истории настаивают на происхождении всех членов сообщества от одного предка, выдавая тем самым отношения между ними за родственные.

Бойцов Михаил Анатольевич - кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

едва ли не все предшествующие человеческие объединения вместе с их собственными картинами минувшего и специфическими стратегиями как воспоминания, так и забвения². Конечно, и в недрах национальных государств всегда сохранялось немало особых "групп памяти", но истории, "рассказывавшиеся" в таких группах, были едва различимы на фоне громкого национального исторического повествования. Партикулярные групповые идентификации были к XIX в. почти полностью подчинены идентификации государственно-национальной.

Когда же сложится грядущее глобальное сообщество, оно сможет себя противопоставлять разве что марсианам, потому что на планете Земля для него не останется никаких "других". Разумеется, это весьма далекая перспектива, однако брать ее в расчет приходится уже сейчас как направление действующего вектора движения. Для глобального общества история Канады, Марокко или Китая будет иметь не больше смысла, чем для нас сегодня - история Ура: последняя хоть и занимает мысли и время нескольких знатоков-антикваров, но не имеет никакого общественного звучания.

У человечества как целого долго не было вообще никакой *общей* памяти - она начала медленно складываться только в эпоху мировых войн. Поэтому история в глобальном сообществе должна рисоваться прежде всего как отрицание и преодоление национальных, региональных и культурных историй, как история построения единой планетарной цивилизации и как обоснование того, почему в этой цивилизации власть и ресурсы распределяются именно так, как они распределяются, а не как-нибудь иначе. Рассказ в традиционном стиле о возникновении и развитии ближне- и дальневосточных, африканских, американских, европейских культур оказывается не только "идеологически" вредным, но и технически невозможным. Ведь любое самое беглое, но сколько-нибудь последовательное (а тем более еще и политкорректное) описание всех этих "исторических корней" будет несостоятельным уже по дидактическим и литературным основаниям: в нем придется проследить столько мало связанных между собой "сюжетных линий", что на это уйдет недопустимо много и слов, и времени.

К тому же все усилия окажутся напрасными, потому что эта монотонная "партикулярная история" будет и не историей вовсе, а только предысторией. Саму же историю глобального общества логично будет ограничить описанием "наднациональных" явлений (таких, как миграции, распространение технологических новшеств или, скажем, пандемия чумы в середине XIV в., захватившая всю Евразию) и шагов по объединению мира. Примерно в этом направлении уже и сегодня движутся сторонники так называемой "новой глобальной истории" [Conceptualizing... 1993]. Вероятно, для периода, предшествовавшего Великим географическим открытиям, придется ограничиться кратким перечислением основных цивилизаций и упоминанием случаев спорадических контактов между ними. Куда больше внимания надо будет, естественно, уделить процессу мировой интеграции с конца XV по конец XX в. Но главное место в курсе истории глобального общества наверняка займет период, начавшийся примерно на рубеже XX и XXI вв., поскольку именно на него придется большинство значительных событий *такой* истории - то есть истории, которая для нас и не история вовсе.

Естественно, что "глобальный" взгляд на прошлое неизбежно должен упускать из виду индивидуальные особенности культур и целых цивилизаций, "не замечать" многих различий в их исторических судьбах. Идею исходного своеобразия отдельного придется принести в жертву идее постепенной конвергенции в единое, и история как знание о единичном окажется подчинена знанию об общем. Нечто похожее имело место в советскую пору, когда "всеобщая история" строилась на основе редуцирования естественного своеобразия разных культур. Под "шелухой" событий, имен и дат угадывалось "главное содержание" истории - и оно было примерно одинаковым в Испании и Монголии, у

² В качестве введения в проблематику "устройства" памяти как явления культуры см. [Ассман, 2004].

³ В отличие от нынешнего времени, писать "всемирные истории" было просто в XVIII-XIX вв., вот только их простодушный европоцентризм сегодня совсем неприемлем.

мая и арабов, заключаясь, во-первых, в процессе социальной дифференциации, а во-вторых, в трениях между возникавшими в ходе этой дифференциации общественными группами [Бойцов, 1997]. Тем самым все неподдающееся охвату единым взором многообразие *исторического* мира сводилось к паре простых *социологических* закономерностей. Что-то сходное, вероятно, должно случиться и с будущей "всемирной историей", только "категории предпочтения" будут другими - не разделение и конфликт, а напротив, соединение и снятие конфликтов.

Итак, самые основания "устройства прошлого" в глобальном обществе будут, судя по первым намекам, решительно отличаться от привычных нам - и по хронологическим предпочтениям, и по отбору материала, и по тому, как "отрегулирован" баланс между единичным и общим.

Глобальные организации и история

Нынешний государственный чиновник должен по определению быть носителем национальной культуры, а значит (наряду со всем прочим), образа национального прошлого. Это всячески приветствуется в качестве важнейшей предпосылки как для успеха его служебной деятельности, так и для его личного успеха. Соответственно, государственные образовательные учреждения издавна настроены на воспроизводство этого типа исторического сознания. В противоположность правительственному чиновнику, сотрудник крупной международной "геоцентрической" компании⁴ (вроде "Шелл") или организации (типа "Гринпис") наиболее эффективен тогда, когда максимально утрачивает свое культурное своеобразие и действует не по нормам собственной культуры, а по универсальным "технологическим" правилам. Руководству такой компании или организации меньше всего интересно, взрастал ли ее работник на стихах Ф. Шиллера, поучениях Конфуция или же романах Г. Гарсиа Маркеса - главное, чтобы он работал с не меньшей эффективностью, чем остальные.

Более того, дабы не помешать хоть чем-нибудь деятельности корпорации, культурную специфику отдельных ее работников лучше бы редуцировать. Правда, и она может оказаться на какое-то время востребованной - скажем, при проникновении компании на новый, специфически культурно окрашенный рынок. Но во всем, что не относится к этой конкретной задаче, лояльному менеджеру исторические знания излишни (если, конечно, они не относятся к истории самой корпорации⁵). Никто, конечно, не запретит ему читать книги по истории, более того, он вправе при желании посвящать им все свободное время. Но такое занятие признается за ним лишь в качестве хобби, относится к сфере частной жизни и не может влиять на решения, принимаемые им на рабочем месте.

В эпоху глобализации история не только не нужна - она *мешает*, особенно история *национальная*. Ей, разумеется, вовсе не обязательно присутствовать эксплицитно и "целиком" в каждой книге по истории - достаточно, что она все еще задает параметры мышления едва ли не большинства историков - даже тогда, когда они работают над сугубо частными (и с виду совсем не "национальными") темами. Однако национальные истории (и даже отдельные их осколки) опасны: они строятся сплошь и рядом на застарелых претензиях к "другим" и восхвалениях "своих" исключительных достоинств. Всякая на-

⁴ Согласно классификации Х. В. Перлмуттера, все транснациональные корпорации можно разделить на три группы по степени усиления интернациональности их систем управления: этноцентрические, полицентрические и геоцентрические. Уже в начале 1970-х гг. подавляющее большинство корпораций относилось ко второму типу при явной тенденции нарастания числа и веса геоцентрических корпораций (см. также [Leviathans... 2005; Transnational... 2005]).

⁵ История крупной транснациональной корпорации сама по себе может развиваться в сторону своеобразной всемирной истории, рассмотренной под специфическим углом зрения. Интересно было бы сравнить, насколько будут различаться между собой такие "всемирные истории", рассказываемые, например, "Дженерал Моторс" и "Мицубиси", "Кока-колой" и "Пепсико"?

ция, если поверить на слово ее школьным учебникам, всегда была окружена завистливыми и злобными соседями, доставлявшими ей, столь талантливой и миролюбивой, множество неприятностей. Принеся неслыханные жертвы на алтарь справедливости и прочих нравственных идеалов, она, в конечном счете, в героической борьбе одолела врагов и открыла путь к ее нынешнему (или же ожидаемому в самом ближайшем будущем) расцвету.

Идентичность, создаваемая такой версией прошлого, строится на конфликте и потому доставляет много хлопот уже сегодня, не говоря уже о том, что будет завтра. На эффективности работы международной корпорации может сказаться лишь отрицательно, если, например, ее вице-президент - француз будет недолго любить вице-президента - британца за то, что англичане сожгли когда-то Жанну д'Арк. Можно привести примеры и куда менее комичные - стоит лишь представить себе в качестве "разнокультурной" пары сотрудников поляка и немца, серба и албанца, израильтянина и сирийца... В данном случае история явно мешает получать прибыль, а это значит, что в высших целях открытия рынков и роста экономики историю требуется как можно скорее *забыть*.

Способы облегчения тягостного воздействия памяти известны и используются давно - пожалуй, испокон веков. Но в последнее время изобретается особенно много способов смягчения или нейтрализации прошлого, преодоления его, освобождения от него и, наконец, его забвения. Одним из самых парадоксальных, хотя, кажется, еще недостаточно осмысленных культурологами является, как ни странно, создание мемориалов. Мемориалы вроде бы призваны поддерживать актуальность минувшего, но в случаях, особенно травмирующих сознание, они словно "всасывают" в себя память о трагедиях, локализуя ее в своих стенах и тем самым отчасти "приручая". Посещая мемориал, человек испытывает сильнейшее потрясение, но вне его позволяет себе вытеснить тревожащее совести коллективное воспоминание к самому краю сознания и за этот край. Мемориал становится тем самым не только "местом памяти" по П. Нора [Les lieux... 1984- 1993; Нора... 1999] (а таковым он, разумеется, тоже остается), но и "местом изоляции" травмирующих воспоминаний.

Создание и поддержание мемориалов - уже сравнительно давняя практика обращения с неудобной памятью, и весьма сложная. Если же вернуться к новейшим практикам, порожденным глобализацией, и притом сравнительно простым, то можно вспомнить, как главы тех или иных государств приносят официальные извинения соседним нациям за страдания, причиненные им в прошлом. Полное ли удовлетворение вызывают такие демарши или нет, оценить со стороны трудно, но поскольку они приветствуются, потребность в них есть, несмотря на всю очевидную формальность таких шагов. Скорейшее "преодоление прошлого" с помощью того или иного символического жеста оказывается в сегодняшнем мире насущнейшей необходимостью, и притом по причинам отнюдь не одного лишь морального свойства. Ведь от успеха "забывания" зависит привлечение инвестиций и открытие новых рынков - аргументы решающие в нынешнем лихорадочном всемирном соревновании.

Деконструкция национальных историй

В этом отношении сегодняшняя ситуация противоположна той, что была в XIX в., когда для приобретения и закрепления за собой рынков необходимо было задействовать мощь национального государства и не в последнюю очередь - его вооруженные силы. Естественно, что в те времена ни о каком забвении национальных историй и речи идти не могло. Напротив, эти истории следовало рассказывать вновь и вновь. Теперь же, боюсь, одними извинениями дело не ограничится - на повестку дня, к счастью или к несчастью, всерьез выходит *деконструкция национальных историй* со всеми их претензиями к "другим" и обоснованиями собственных исключительных достоинств. Как от обид и претензий, так и от самовосхвалений в нынешнем мире явно становится мало пользы.

Национальные истории (как и любые иные картины прошлого) не просто сосуществуют, они то и дело сталкиваются, вступают в конфликты друг с другом. В XIX в. "немецкая" картина прошлого очевидно противостояла "французской", но обычный немец или француз могли и не догадываться о возможности альтернативного взгляда на минувшее: национальное государство в пределах своих границ успешно сохраняло монополию на "рассказывание истории". Сегодня столкновения между разными образами прошлого несопоставимо участились, спустившись до уровня сознания рядового обывателя. Серба трудно "уберечь" от всякой встречи с хорватской трактовкой прошлого, как и наоборот. Это многократно усиливает заряд конфликтности, содержащийся в национальной истории, ее способность ссорить людей. Опять выходит, что традиционные национальные истории крайне вредны для экономической интеграции и потому нуждаются в деконструкции. Деконструкция национальных историй начинается обычно с их релятивизирования. Когда "Евроклио" - европейская организация преподавателей истории - настаивает на таком включении "иных" точек зрения в школьные учебники (скажем, "хорватской правды" в сербские учебники), чтобы "чужие" мнения вызвали понимание, а то и сочувствие, она открывает путь именно для деконструкции национальных картин минувшего. Здесь конфронтация противостоящих образов прошлого заменяется диалогом между ними. Но "наша" картина прошлого может быть по определению только монологичной: "мы" не можем быть и "нами" и "не нами" по определению. Любой сочувственный диалог с "другой" историей постепенно трансформирует и "нашу" историю, и, соответственно, задаваемое ею "наше" сообщество, подвигая его к какому-то иному качественному состоянию.

Хотя Россия отнюдь не лидирует по темпам интеграции в общемировое пространство, и в нашей национальной истории сомнительных, а то и "мешающих" суждений и оценок едва ли не с каждым годом проступает все больше. Притом относятся они не только к недавним десятилетиям, но и, что интереснее, к далекому прошлому. Так, в рассказе о русском средневековье исключительная символическая роль по традиции отводится двум эпохальным битвам: на Чудском озере и на Куликовом поле. Порой их даже относят к числу величайших сражений европейской (и не только) истории, а то и рисуют просто космическими столкновениями сил добра и зла.

Насколько хорошо обе эти битвы структурировали когда-то нашу картину минувшего, столько же "неудобств" вызывают они теперь. Образ Ледового побоища (о Куликовской битве будет сказано ниже) прекрасно "работал" и в Первую мировую войну, и во Вторую, и в послевоенные десятилетия как наглядная иллюстрация извечности агрессивных замыслов немцев, их стремления поработить славянский мир (или - в более поздней трактовке - страны соцсодружества) вообще, и русские земли (или, соответственно, СССР) в частности. Какая польза от антинемецкого пафоса в нынешних условиях, когда Германия уже давно стала нашим главным и самым перспективным партнером в Европе, а русскоговорящих там живет уже пара миллионов человек? Из идеи, еще совсем недавно сплывавшей нацию, Ледовое побоище на наших глазах спустилось до уровня идеи, так сказать, "партийной": сейчас громче всех славят Александра Невского те, кто считают жизненно необходимым защищать православную Россию от извечного натиска католицизма (но уже не Германии!), кто категорически против ее интеграции с Западом и ожидает в обозримом будущем агрессии НАТО. Понятно, что у представителей противоположной партии - либералов-западников - возникает соблазн покуситься на славную страницу отечественной истории и несколько принизить историческое значение победы новгородского князя. Так что на льду Чудского озера еще, вероятно, будут происходить историко-политические баталии. Чем они закончатся, зависит от пути, по которому будет в ближайшем будущем двигаться наша страна. Однако сейчас занятно само по себе уже то, что всего лет за двадцать Ледовое побоище успело без академических дискуссий незаметно превратиться из безусловного национального символа в символ оспариваемый и рискует вскоре совершенно десимволизироваться.

Трудности, переживаемые сейчас национальными историями, вызваны не только "внешним" натиском глобализации, но и проявившейся в самих этих образах прошлого

"внутренней" болезнью - их собственная способность задавать самоидентификацию сообществ за последние десятилетия явно понизилась. Виною тому преступления, совершенные национальными государствами в XX в., которые начали вызывать стыд. Легко "своей" историей гордиться, но крайне трудно принимать на себя груз ответственности за совершенное в прошлом зло. Поэтому самоидентификация через историю идет сейчас куда сложнее, чем полторы сотни лет назад.

Обязан ли немец, родившийся в 1980-е гг., ощущать себя ответственным за деяния нацистского правительства его страны? В идеале, наверное, должен, как и его российский сверстник - за преступления сталинизма. И наверняка всегда будет много таких немцев, русских, американцев и любых иных, кто сможет брать на свои плечи груз грехов предков. Согласимся, однако, что требовать такой нравственной самоотверженности от каждого (или даже каждого сотого) было бы нереалистично. Между тем без неприятных поисков хоть каких-то решений трудных моральных проблем при обращении к "своему" национальному прошлому ныне не обойтись. "Хорошая" (в прагматическом отношении) идентичность - идентичность комфортная, а та, что вызывает постоянный глубинный дискомфорт, может довести до возникновения тяжелых фрустраций и у индивида, и у сообщества. Инстинктивное стремление избежать дискомфорта при определении собственного "я" психологически понятно даже тогда, когда оно в нравственном плане выглядит не вполне безупречным. Отсюда же понятно, почему самоидентификация индивида со "своей" национальной историей (а значит, и с собственным государством) вызывает сейчас трудности и предстает делом куда менее приятным, чем в XIX в. Едва ли не у каждой нации - большой или малой - больная совесть: у кого холокост, у кого ГУЛАГ, у кого Вьетнам, а у кого Алжир. В каждом национальном шкафу в XX в. появился свой скелет, а то даже несколько.

"Чистыми" вроде бы должны быть истории "новых наций" - только что возникших государств. Но и у них не без пятен: одни унаследованы из прошлого, другие успели возникнуть только что, как раз в ходе обретения суверенитета. В "новых" государствах сейчас повсюду ведется конструирование "национальных историй" вполне классического образца - процесс, заслуживающий сугубого внимания исследователя исторического сознания. Однако, несмотря на экзотическое буйство используемых красок, вряд ли именно здесь реализуются актуальные тенденции развития исторического знания. Нынешние "молодые национализмы" в Восточной Европе и бывшей советской Евразии, скорее всего, не предвестье будущего, а воспоминание о прошлом - запоздалые отзвуки процессов XIX в. Это национализмы старого образца, которые возникли в условиях распада сообществ, где дезинтеграционные процессы долгое время искусственно сдерживались.

Интересно, сумеют ли новорожденные национальные истории сыграть для "своих" сообществ такую же роль, какую играли национальные истории в XIX в.? Пожалуй, интегрирующая сила "новых" национальных историй может оказаться существенно слабее по двум основным причинам. Во-первых, нынешняя информационная ситуация совсем иная, чем в XIX в., и любой "потребитель" может в принципе довольно легко (при помощи библиотеки, Интернета, телевизионной антенны, радиоприемника или, скажем, в ходе туристической поездки) выходить за рамки навязываемых "национальной историей" (даже всемерно поддерживаемой государством) воззрений на прошлое. Во-вторых, влияние образов "национальной истории" ослабляется еще и явным снижением доверия того же самого "потребителя" к любым претензиям "исторической науки" на достоверность. Поэтому, хотя "новые" национальные истории на первых порах и могут пользоваться поддержкой охваченных энтузиазмом "новых" же сообществ, стоит лишь первоначальному энтузиазму поостыть, как им приходится преодолевать скепсис населения по отношению к истории вообще. Так что особая активность, временами агрессивность "новых" национальных историй объясняется, боюсь, не только их полемичностью по отношению к прошлой "имперской" картине прошлого, но и необходимостью преодолеть укоренившееся и у "своего" потребителя недоверие к любой исторической информации.

Здесь уместно остановиться подробнее на "историческом скепсисе", столь отличающем нынешнюю ситуацию от той, что была в XIX в. Советская историческая наука и особенно советское историческое образование в конечном счете привели к решительной дискредитации исторического знания на всем советском (а следовательно, и постсоветском) пространстве. История XX в. (то есть того времени, о котором сохранялась "неофициальная", альтернативная память, передававшаяся изустно) переписывалась заново при каждой смене первого лица государства. Не менее существенно, что долгий кризис социализма, а затем и его распад наглядно показали исходную ущербность историософской концепции, составлявшей самое ядро "научности" советской картины прошлого.

Едва ли не важнейшее достижение советской исторической науки состоит в дискредитации всякой претензии истории на научность. В глазах нашей общественности "ненаучность" истории - окончательный ей приговор, поскольку советская публика воспитывалась партией и правительством в сугубо сциентистском ключе. Естественно, что место ненаучной "истории историков" у нее легко могут занимать другие истории (например, "история от математиков") просто потому, что математика в глазах советского человека (и соответственно, его наследников) - "настоящая наука".

Размашистые партийные эксперименты с историческим сознанием советского общества привели, как ни парадоксально, примерно к тому же результату, что и рафинированные методологические дискуссии на Западе. Если там лучшие умы путем долгих интеллектуальных поисков при помощи тончайших инструментов логики и в ходе интеллигентнейших обсуждений пришли к выводам о высокой степени субъективности всякого исторического знания и о том, что историческая наука представляет собой совокупность культурных практик, сложившихся в определенных исторических обстоятельствах и оттого неизбежно со временем трансформирующихся, то у нас последний божж, явно не знакомившийся с работами Ф. Ницше, убежденно заявит, что история лжет, а историки - лжецы и проститутки, за гроши готовые обслуживать любую власть.

При всей досадной несбалансированности данного тезиса, приходится признать, что в нем есть своя доля сермяжной правды, выношенной в глубине народной души. (Тем более, если вспомнить, что в головах многих советских граждан "история вообще" была идентична "истории КПСС" - как в учебных программах негуманитарных вузов.) Однако нам интереснее то, что постсоветское утверждение "история все лжет" представляет собой всего лишь очень грубую версию западного "в истории так много субъективизма". И на капиталистическом Западе, и на социалистическом Востоке историю практически одновременно избавили от статуса научного знания в том смысле "научности", который преобладал в XIX в. Как и во многом ином, российское общество двигалось, похоже, примерно в том же направлении, что и западное, однако (тоже как во многом ином) куда более нездоровым, радикальным, порой просто гротескным образом по самым странным и трудным путям⁶.

Претензия на научность (или хотя бы жажда научности) играла очень большую роль в XIX в. для легитимации дисциплины истории и очевидного успеха интегрирующей миссии национальных историй. Последняя могла успешно выполняться до той поры, пока жила уверенность в том, что знание, предоставляемое национальной историей, если и не до конца научно сегодня, то во всяком случае станет таковым завтра. Признание того, что целый букет разных видов субъективного не только не элиминируется из исторического исследования (что было бы еще полбеда), но даже составляет, по сути, принципиальное ядро такого исследования (что уже беда целая), не могло не сказаться негативно на массовом отношении к истории, на росте скептицизма по отношению к ней.

⁶ "Официальная" советская история стремилась, однако, никуда не идти, а законсервировать параметры исторического знания XIX в. (подробнее см. [Бойцов, 1999, с. 31]).

Альтернативные пути самоидентификации

Методологические разочарования в возможности "подлинной научной истории" в сочетании с психологическими сложностями, вызываемыми собственным "стыдным" прошлым (как, впрочем, порой и не менее стыдным настоящим), да еще в условиях, когда на каждого человека обрушивается поток историко-культурной информации, не вписывающейся в рамки национальной истории, приводят к совершенно новым явлениям в области массовой самоидентификации, явлениям, заслуживающим внимания социолога. Прежде всего в глобализирующемся мире все шире открываются возможности для выбора "дополнительной" или даже "альтернативной" самоидентификации (в XIX в. крайне маловероятные). Яркий (хотя и частный) пример тому, на мой взгляд, - праздник св. Патрика, год от года все с большим размахом отмечаемый в Москве. Энтузиазм, с которым отпрыски совслужащих обсуждают отличия ирландских килтов и волюнок от шотландских, или гордость, с которой они объявляют о своем вступлении в тот или иной славный кельтский клан, могут производить весьма комическое впечатление на стороннего наблюдателя. Но чем глубже "кельтомания" пускает корни среди русских снегов, тем показательнее она как проявление серьезного культурного сдвига: "прирожденная" национальная идентичность оказывается по каким-то причинам слишком "тесной".

Между тем современные условия (как информационные, так и коммерческие) предоставляют богатые возможности устранить дискомфорт и выстроить в принципе любую желательную личную или групповую идентичность. Насколько убедительной внешне, а главное, эффективной для самого индивида или сообщества может быть такая произвольно выбранная идентификация - сказать без специального изучения вопроса сложно. Но поскольку и "прирожденная" национальная идентичность вряд ли полностью передается на генетическом уровне, будучи преимущественно социальным конструктом, то принципиальных преимуществ у нее перед "дополнительными" или "альтернативными" идентичностями не так много, как может показаться на первый взгляд.

Среди костюмированных, а потому особенно выразительных (ведь одежда - важнейший способ "опубликования самости") "альтернативщиков", для примера можно указать также на две столь различные (и по целям, и по численности, и по амбициям) группы, как кружки любителей старинных военных мундиров, с одной стороны, и казацки сообщества - с другой. Вот молодые русские парни в идеально восстановленных мундирах наполеоновской армии парадным строем вступают в Дом Инвалидов, чтобы салютовать гробнице великого Императора. Это самый торжественный момент в их жизни, в волнении признаются они потом: такого священного душевного трепета, такой эмоциональной бури, таких жгучих слез они не ощущали никогда ранее. Что до казаков, то особенно заняты, конечно же, те, что всерьез настаивают на своей этнической обособленности от "соседних славян" и на происхождении прямиком от остготов Эрмариыха.

Если внимательно присмотреться к нашему обществу, мы обнаружим весьма заметное число людей, создающих для себя особые модели идентификации, отличающиеся от национально-государственной, а то и прямо ей противостоящие, пусть и не столь колоритные. Не будем здесь выяснять, каковы причины популярности таких моделей - разочарование в государстве, травма памяти, эскапизм, политический интерес или любые иные. Неуместны и рассуждения на тему, хорошо это или плохо - мыслить себя в качестве шумера, воина Александра Македонского или потомка Тамерлана: если и нации в последнее время не без оснований все больше рассматриваются в качестве "воображаемых сообществ", то в чем (кроме не такой уж и долгой традиции) их принципиальное преимущество перед сообществами самозванных остготов? Существенно здесь лишь то, что каждая из моделей идентификации предполагает и определенную картину прошлого, порой весьма отличающуюся от предлагаемой сообществом официальных (то есть признанных и "сертифицированных" государством) академических историков.

Самые показательные среди всех "альтернативных сообществ" - довольно многочисленные молодые люди, которые при последней переписи населения назвали себя эльфами или хоббитами. Здесь мы подходим к новому явлению, порожденному глобализаци-

ей и технологическим рывком, - *квазиистории*. Как уже говорилось, собственной истории у глобального общества нет, да скорее всего, и быть не может. Архаичные национальные истории создают препятствия на пути к "единому человечеству". Почему бы тогда не изобрести заменители национальных историй - свободные от всех их недостатков квазиистории, которые, во-первых, не были бы связаны с определенными нациями, а во-вторых, рассказывались бы по всему миру одинаково?

Именно такими квазиисториями являются, например, и "Звездные войны", и "Властелин колец", и "Гарри Поттер". Все они выстроены по законам исторического жанра. Их морфологическое устройство, их поэтика вполне подошли бы для презентации и вполне "настоящего" исторического повествования. Но поскольку в них рассказываются истории о других мирах, они освобождены от всех слабостей мира "нашего" и потому могут прекрасно служить созданию глобального сообщества. Идентификация себя с мужественными и скромными хоббитами или изысканными загадочными эльфами куда комфортнее, чем с собственным государством - Левиафаном, за которым числится немало гнусностей в прошлом и который дает мало поводов для восхищения в настоящем.

Что же касается художественных средств, при помощи которых выстраиваются квазиисторические кинонарративы, то они обладают несопоставимо большей силой воздействия, чем научная проза историков XIX в. и нынешних продолжателей их дела. Современный кинематограф может создать потрясающий эффект присутствия зрителя *внутри* действия, сделать его очевидцем, почти участником *action'a*. Зритель принимает повествованию то со страхом, то с восторгом, то со слезами на глазах. О таком воздействии историки, стремившиеся показать, "как это было на самом деле", могли только мечтать. Тут и литераторам есть чему позавидовать⁷.

Современная кинематографическая квазиистория намного убедительнее и динамичнее "подлинной истории" (как, впрочем, и любой художественной исторической книги), она доступнее для восприятия, обладает немалой эстетической цельностью и потрясающей художественной выразительностью. Ее можно предъявить потребителю в качестве масштабного полотна, а не разорванных фрагментов, к которым обычно сводится нынешнее историописание. Мне могут возразить, что сила воздействия "Властелина колец" во многом объясняется тем, что там используются образы европейского средневековья, созданные историками. Однако можно легко представить себе не менее успешный квазиисторический сериал. Картины китайских режиссеров последнего времени лучшее доказательство хорошей "продаваемости" новейших интерпретаций восточной экзотики⁸. Вряд ли кассовый успех такого кино можно списать на счет усилий китайских историков и европейско-американских синологов.

Глобальная культура все меньше нуждается в историках как в экспертах по прошлому. Набор легкоузнаваемых (а значит, хорошо продаваемых) образов прошлого вполне сложился, в производстве новых особой необходимости нет, а пользоваться уже имеющимися нетрудно и без помощи профессионального историка. При создании классической "исторической" картины имя историка-консультанта в титрах имело коммерческий смысл, поскольку заверяло потребителя в подлинности предлагаемого товара (*genuine history*), но новейшая квазиистория не нуждается даже в такой этикетке.

История и самоидентификация в обществе потребления

Основная функция истории в эпоху глобализации уже отнюдь не средство идентификации сообщества, как это было раньше, к чему мы так привыкли в завершающуюся (или уже завершившуюся) эпоху "модерна", а источник *коммерциализируемых образов*.

⁷ Вспомним попутно, что в XIX в. именно литераторы создавали образцы "альтернативного" исторического знания, успешно конкурировавшего с "научно-историей": наши представления о Франции времен Людовика XIII и сегодня основываются на образах, почерпнутых отнюдь не из учебников...

⁸ Конечно, с одной поправкой: даже "неевропейская" фактура должна принять форму, удобную для восприятия европейца, и подчиниться стандартам повествования, задаваемым Голливудом.

Ясно, что такие образы используются прежде всего для развлечения, так что нравится нам или нет, история становится *способом развлечения*, источником удовольствий.

Похожую роль история играла, кажется, издавна - но с разным успехом у публики. Так, в заканчивающуюся двухсотлетнюю эпоху "истории как науки" о развлекательности истории в приличном обществе старались не говорить - тогда она пыталась предстать занятием куда как серьезным и только для очень солидных людей. Сейчас же история, точно так же, как и другие сферы общественного бытия (например, спорт, искусство или политика), неизбежно подчиняется основному требованию времени - всеобщей коммерциализации, а значит, приспосабливается к запросам не идеологии, а рынка. Рынок же оставляет истории прежде всего функцию развлечения публики.

Мне возразят, что серьезная академическая литература по истории тоже по большей части распродается. Однако, во-первых, об успехе социальной роли истории (как и любой иной дисциплины) следует судить по интересу к ней *за* рамками профессионального сообщества, а к истории интерес явно снизился по сравнению даже с 1960-ми гг. Во-вторых, чем дальше, тем больше "серьезная" историческая литература реализуется в одном определенном секторе рынка: ее покупают университетские библиотеки, студенты и сами же историки. Благодаря стабильному увеличению этого сегмента на протяжении всего послевоенного периода (следствие роста числа университетов, студентов и историков) до недавних пор скрадывалось постепенное охлаждение к истории широкой публики. Однако теперь и сам "университетский" сектор стагнирует и переживает структурные перемены, оптимизма не внушающие⁹. В-третьих, ни рядовой читатель, ни, что самое занятное, рядовой автор исторической книги не предполагает, что в ней должно быть оглашено *urbi et orbi* нечто жизненно важное, смыслополагающее (установка, ярко выраженная в XIX и даже еще в начале XX в.). Как правило, автор, не задаваясь высокими идеями, печатает свою диссертацию ради академической карьеры или же пишет популярную книжку ради гонорара. Диссертации рядовой читатель приобретает, конечно, не будет, оставляя их на откуп научным библиотекам, а популярную книжицу, возможно, и возьмет. Однако ожидает он от нее отнюдь не прояснения путей развития человечества (чем сплошь и рядом интересовалась образованная публика в XIX в.), а просто занимательности. История давно уже не учит жизни, а только помогает сделать ее приятной. Вот мы и вернулись к предыдущему тезису: история все больше требуется в качестве развлечения, средства занять досуг, и все меньше в качестве инструмента выстраивания жизненных установок, позиций, определения "себя" через отличия от "других".

Но как же так, возразят мне, любое сообщество, чтобы являться таковым, нуждается в средствах самоидентификации, и разве не история служила до сих пор, согласно моим же собственным словам, едва ли не важнейшим среди них? В том-то, на мой взгляд, и состоит дело, что изменилась сама *основа самоидентификации* современного общества; вопрос "*откуда мы приходим?*" отходит все дальше на задний план. В нынешнем обществе "мы" уже не определяемся *общностью нашего прошлого*. Хорошо это или нет, но "мы" определяемся *общностью опыта потребления*.

Иными словами *новые мы* - это те, перед кем открывается возможность приобретения одинаковых товаров и услуг. И "сыну степей калмыку" и "негру преклонных годов" предоставляется равная (во всяком случае, в принципе) возможность приобрести, скажем, утюги одной и той же марки (или автомобили, или бутерброды с котлетой и капустой в сети фаст-фуда). При случайной встрече наши гипотетические калмык и негр вполне могут найти общие темы для разговора, обсуждая потребительские свойства того или иного продукта на рынке или хотя бы качество рекламирующих его телевизионных роликов. Они оба оказываются членами единого глобального сообщества. Куль-

⁹ Рассуждения о нынешних трудностях университетов см. в [Копосов, 2005, глава 17]. Надежды, связываемые автором с колледжем свободных искусств как формой, более отвечающей постиндустриальному обществу, кажутся мне несколько преувеличенными.

турно-историческое своеобразие каждого из беседующих будет только мешать установлению содержательного диалога между ними.

Глобальное сообщество, как оно вырисовывается сегодня, - это сообщество потребителей товаров, которые создаются глобальными же производителями и рекламируются через глобальные информационные сети. От истории в таком обществе большого прока нет, как нет его и от историков, за исключением тех, кто умеет развлекать потребителя, продавая ему те или иные исторические (или "квазиисторические") образы. Ясно, что потребность в "жрецах Клио" станет вскоре еще меньше, чем сегодня, отчего этому профессиональному сообществу суждено то ли до неузнаваемости измениться, то ли вовсе исчезнуть.

Впрочем, пожалуй, какое-то число носителей антикварного исторического знания, наверное, сохранится; возможно даже, их "труды и дни" будут неплохо оплачиваться. Но вряд ли они вызовут общественный интерес больший, чем сегодня, например, ассириологи или палеографы. Это будет история для касты знатоков, своего рода закрытого международного клуба.

Глобализация и "глокализация"

Определяющаяся все четче "потребительская" (а значит, антиисторическая) модель самоидентификации противостоит всем иным, предполагающим наличие какой бы то ни было "своей" картины прошлого. Оппозиционность по отношению к "потребительской модели" - единственный пункт, в котором дряхлеющая, но солидная "национальная" модель сходится со всеми ей альтернативными. Даже с пародией на саму себя в виде безумных фантазий математиков, разыскавших "нашу" великую империю в библейском прошлом - в качестве психологической компенсации всем "нам" за утрату ее в тусклом настоящем.

Из альтернативных моделей идентификации, все еще сулящих некоторый заработок историкам, социологи уделили исключительное внимание модели "локальной". По их справедливым наблюдениям, глобализация, размывающая национальную государственность, резко усилила тягу к региональной, местной идентичности. Для описания этого нового явления был даже придуман термин "глокализация", соединивший в одно слово представления о глобализации и локальности¹⁰.

Действительно, признания типа "Я осознаю себя в первую очередь франкфуртцем, во вторую - европейцем, а немцем не осознаю себя вовсе" приходится слышать все чаще. Такая модель идентификации, как "нация", теряет влияние, а вместе с ней все больше утрачивает силу и такая модель рассказа о прошлом, как национальная история. Нередко создается впечатление, будто региональные идентичности (вместе с присущими им собственными картинами прошлого) стойко продержались несколько столетий кряду под гнетом национального государства и теперь, когда это бремя начало ослабевать, снова подняли головы. Возможно, описание в стиле "восстание угнетенных" и справедливо по отношению, например, к Шотландии, но оно совсем неправомерно в случае, скажем, федеральной земли Саксония-Анхальт, образованной в 1990 г., где локальный патриотизм оказался выражен неожиданно ярко, хотя у него отсутствуют всякие исторические корни. Политического объединения Саксония-Анхальт в прошлом просто не было за исключением всего нескольких лет - с 1947 по 1952 гг. Это означает, что причины тяги к локальной или региональной идентичности следует искать не в далеком прошлом, а в нашем настоящем.

Казалось бы, складывающаяся ситуация приглашает историков переориентироваться и начать писать преимущественно на локальные темы. Действительно, в последние годы выходит все больше именно таких исследований, и лучшие из них привлекают ин-

¹⁰ Термин предложен Р. Робертсоном в начале 1990-х гг. Словечко быстро стало распространяться в литературе [Swyngedouw, 1992; Mazlish, 2005; Matoba, 2003].

терес не только местных уроженцев [Савельева, Полетаев, 2003, с. 469 - 472]. Хотелось бы, конечно, чтобы в нашей стране эта тенденция привела к появлению, наконец, солидного регионального историописания - в духе немецкой *Landesgeschichte*. (Пока же "региональные" историки, кажется, предпочитают отдавать все силы обслуживанию идеологических запросов местных властей имущих.) Тем не менее уже сейчас ясно, что даже полный расцвет локального историописания не дарит истории много дополнительных шансов на выживание.

Во-первых, у локальной истории и амбиции могут быть только ограниченными: "учить жизни" лишь в пределах земли Саксония-Анхальт - задача несколько странная. Каким образом "локальный историк" может выйти за такие пределы? Конечно, есть "локусы", способные привлечь к своему прошлому широкое внимание из-за политических причин или культурного значения. Однако большинство "малых родин" по всему свету таково, что вызывает то периодическую, а то и хроническую тоску даже у своих уроженцев, и историку нужно обладать особыми талантами, чтобы ухитриться сделать прошлое таких мест значимым для всех. (И действительно, исследование о богом забытом Лайхингене интересно не тем, что оно о *Лайхингене*, а тем, что в этом рассказе читателю мерещится нечто *куда большее*.) [Medick, 1996].

Во-вторых, с нарастанием всеобщей мобильности у все большего числа представителей человечества возникает проблема, по какому именно "топосу" из того ряда, через который провела их жизнь, испытывать ностальгию? Какая локальная история особенно близка была бы поэту И. Бродскому: история Петербурга, Нью-Йорка или же Венеции? А какая - чаду новорусского миллионера, родившемуся в подмосковной хрущевке, учившемуся в Оксфорде и спускающему сумасшедшие папины деньги на Багамах? В эпоху всеохватных миграций даже локальная привязка биографии оказывается во многом делом личного выбора.

Сегодняшний подъем локальных историй вносит свой немалый вклад в распад национальных историй (а не только является результатом такого распада), как бы взламывая национальные истории "снизу". Процессы децентрализации в СССР, а затем и в России (при всем их своеобразии) в конечном счете опять-таки странным образом напоминают общемировую "глокализацию", пускай и в несколько пародийном варианте. Как ни странно, вызов с этой, локалистской, стороны наша национальная история ощутила еще в позднесоветские времена.

Тут есть повод вернуться к центральным сражениям нашего прошлого, только на этот раз к Куликовской битве. В "классической версии" русской национальной истории сражение на поле Куликовом символизировало не только фактическое рождение Московской державы, но и победу свободы над угнетением, цивилизации над варварством, Запада и Европы над Востоком и Азией, христиан над иноверцами, русских над инородцами. Однако со временем сложности возникли не с чем иным, как с определением победителей и побежденных, тех, кого национальная история призвана спланировать чувством гордости и счастья от успеха князя Дмитрия Донского. Действительно, должны ли современные татары радоваться разгрому татар Мамай? Проблему пытались решить путем терминологических экспериментов. Сначала исторических "татар" заменили на "монголо-татар", дабы подчеркнуть их отличие от татар поволжских. Но эта мера оказалась недостаточной, и позже советские редакторы стали вымарывать и "монголо-татар", повсеместно заменяя их на каких-то совсем странных "ордынцев" и "золотоордынцев"¹¹. "А то татары сильно обижаются", - объясняли в издательствах. Характер обиды не скрывался: нынешние татары - наследники вовсе не жестоких татар-завоевателей Батые и его потомков, а мирных волжских болгар, которые как раз и пострадали от завоеваний "ордынцев". Тем самым "хорошие" русские вместе с "хорошими" татаро-булгарами оказывались вместе по одну сторону поля, а "плохие" татаро-монголы - по другую.

¹¹ Характерный пример такой цензуры (или самоцензуры) - книга [Карганов, 1980], в которой автор виртуозно избегает использования слов "татары", "татарин", "татарский".

Однако в постсоветскую пору произошел существенный сдвиг: теперь в Казани все чаще слышишь, что приволжские татары являются историческими наследниками не одних лишь булгар, но в не меньшей степени все-таки и татар Чингисхана! Если раньше от возможного родства с ним "наши" татары отказывались, то теперь они стали таким гипотетическим родством гордиться. Если раньше волжские татары "мучились под игом" вместе с русскими, то теперь выяснилось, что они тогда господствовали над русскими. Правда, господство это имело вполне человеческий и гуманный вид (в отличие от господства с середины XVI в. русских над татарами).

Не разбираясь в предмете по существу, ни на минуту не усомнюсь во всесторонней обоснованности суждений моих казанских друзей. Мне лишь важно отметить два обстоятельства. Во-первых, "промосковская" трактовка регионального прошлого заменилась в их устах полемической "антимосковской". Во-вторых, в ее свете традиционная "великорусская" трактовка Куликовской битвы (а заодно и всего "ига") оказывается политически крайне неудобной, поскольку не укрепляет целостность России, а напротив, провоцирует ее раскол. Рассчитывать на то, что "московский" образ прошлого вдруг решительно возобладает над "казанским", не приходится. Да дело и не в одной Казани: держава монголов и фигура ее основателя обладают сегодня такой легитимирующей силой, что и в восточных регионах России, и в сопредельных государствах на них часто строятся модели исторической идентификации. Место и роль неславянских народов в России за последнее время настолько изменились, что представлять Куликовскую битву как шаг к свержению русским народом "чужеземного ига" становится все менее удобным. Думаю, вскоре будет найден компромисс, в результате которого трактовка темы татарского (не "ордынского!") "ига" вообще и сражения на Непрядве в частности в наших учебниках существенно изменится. Не удивлюсь, если в конце концов возобладает мнение, что "иго" представляло собой всестороннее творческое взаимодействие различных культур, а Куликовская битва стала трагическим братоубийственным конфликтом.

Помимо забот о разработке разных локальных историй и их хотя бы поверхностном согласовании, у историков в рамках "глокализации" оказывается немного достойных занятий. Однако, на мой взгляд, не следует принимать слишком уж всерьез эти рамки. Термин "глокализация" (вместе со стоящей за ним концепцией) предполагает, как думается, слишком узкую, чисто "топографическую" привязку образующихся сегодня новых идентичностей. В действительности последние выстраиваются не обязательно вокруг родного хутора, но, как я пытался показать и здесь, и ранее [Бойцов, 1999], вокруг самых разноплановых интересов, притом далеко не всегда легитимирующих себя через собственную "идею прошлого". Дробление и распад больших исторических нарративов как раз и вызван общей децентрализацией идентичностей в современном обществе, а не одной лишь их переориентацией с национального государства на отдельный "локус".

Темпы движения и сдерживающие факторы

Обе основные тенденции "глокализации" - объединение мира, с одной стороны, и дробление традиционных национально-государственных сообществ - с другой, уже достаточно проявили себя, чтобы относиться к ним со всей серьезностью. Однако мы не знаем, каким темпом они будут реализовываться, насколько полно в конце концов реализуются, а главное, какие катаклизмы случатся на непрестом пути их реализации. Вспомним, что еще авторы "Коммунистического манифеста" в середине XIX в. ощущали приближение того, что позже назовут глобализацией: "На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной степени относится как к материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература" [Маркс, Энгельс, 1979, с. 111].

"Глобализм" середины XIX в. выглядит сейчас жидковато: как далеко то "бесконечное облегчение средств сообщения", о котором торжественно говорится в "Манифесте",

от сегодняшней возможности воочию следить в режиме реального времени за сложными процессами (будь то производство, война или, к примеру, водоснабжение огромного города) с другого полушария или вообще из любой точки планеты - и даже управлять ими! Интеграция мира прошла со времен К. Маркса и Ф. Энгельса долгий путь и вышла на совершенно иной качественный уровень, но ни "национальная односторонность и ограниченность" еще не преодолены, ни "одна всемирная литература" пока не образовалась. Тем больше впечатляет, что авторы "Манифеста" уже тогда точно уловили основной вектор мирового развития (по крайней мере, в данном пункте). Другое дело, что на фоне этого вектора действовало и немало других, временами даже, казалось, бравших верх. Не знаю, как насчет литературы, но "национальная односторонность и ограниченность" достигли своего максимума только в XX в. Правда, при оценке темпов развития стоит учесть и то обстоятельство, что "короткий XX в." (1918 - 1989) затормозил многие процессы, набравшие скорость на рубеже XIX и XX вв., он как бы заморозил ситуацию в холодильнике идеологического противостояния и раздела мира. Только окончание холодной войны и закат социалистической системы сняли искусственные ограничители для естественного хода вещей.

Национальное еще отнюдь не утратило своей жизнеспособности, хотя чем дальше, тем больше меняет свой облик. В сегодняшней Западной Европе поводов для широкого и вместе с тем политически корректного выражения национальной гордости становится все меньше. Старый патриотизм национального толка, разумеется, не исчез, но отношение к нему настороженное, а прибегают к нему обычно политические силы одиозного свойства. Однако в России заряд "национального" может оказаться очень сильным, ибо ей явно не удастся занять место поближе к центру складывающегося единого мира. Без целенаправленной и умной политики нам и на периферии не добиться сколько-нибудь почетного положения, хоть отдаленно отвечающего привычным амбициям. Такое "унижение" может, конечно же, привести не только к политическим катаклизмам, но и ко временному подъему классического историописания национально-государственного толка. Однако, несмотря на любые возможные попятные шаги и возвратные движения, уже сейчас достаточно ясно: перспективы исторического знания в пределах национальной парадигмы оптимизма не внушают. История как наука родилась в конце XVIII - начале XIX в. вместе с национальным государством (и прежде всего ради него), а в близком будущем, вместе с ним же, рискует сойти на нет.

Глобализация и микроистория

На фоне нынешних осколков национальной истории более или менее отрадное впечатление производит микроистория. Она не воспринимает дробление и распад "старого" историописания, тесно связанного с национальным государством и идеологиями XX в., как трагедию конца, а напротив, старается именно в нем усмотреть новое начало. У нее есть читатели, а это важнее наличия методологии. В одной яркой статье убедительно обосновывалось, что микроистория в принципе невозможна [Копосов, 2000]. Я ничего не имею против этого тезиса, ведь весьма многое из практически существующего (включая, например, жизнь, тем более жизнь разумную) теоретически невозможно. Осмелюсь предположить, что даже традиционная "макроистория" теоретически существовать не может - хотя бы из-за принципиальной методологической сомнительности любых путей обобщения и несовершенства любого понятийного аппарата, применяемого для обобщений. К тому же нам уже привито достаточно скепсиса, чтобы не питать иллюзий ни относительно познавательных возможностей разума историка, ни относительно качества материала, дошедшего до него из прошлого (или же выдающего себя за таковой).

И сами микроисторики, и наблюдающие за ними со стороны, время от времени развлекаются тем, что сначала ставят перед этим направлением совершенно чуждые ему задачи, а потом с интересом наблюдают, как микроистория, мучаясь, никак не может с ними справиться. Нет ничего более садистского (если говорить о сторонних наблюдателях) или мазохистского (если говорить о самих микроисториках), чем вопрошания, ког-

да же, наконец, и каким образом микроистория породит некую "целостную теорию общества", некую "общезначимую концепцию", некую "генерализацию", способную бросить серьезный вызов макроисторическим теориям, концепциям и генерализациям. На самом деле микроистория действует в иной плоскости и предназначается для другого - она прежде всего *проблематизирует индивидуальное*.

Критика микроистории, строящаяся вокруг "очевидного" тезиса, что индивидуальное само по себе малоценно, обретая смысл лишь в контексте общего, как мне кажется, опирается на изрядно устаревшую мыслительную парадигму. Не возьмусь сейчас всерьез обсуждать диалектику общего и особенного, в частности применительно к микроистории, но позволю себе смелое предположение, что, в конечном счете, неплохим философским базисом для рассуждений на эту тему мог бы стать древний тезис о принципиальном единстве микро- и макрокосма. Убедительнее всего такое единство обосновывается, разумеется, теологически, то есть в системе рассуждений, новоевропейской науке не органичной. Однако существуют и материалистические трактовки единства мира, которых для наших целей было бы вполне достаточно.

Вряд ли справедливо утверждение, что микроистория изучает "малые" объекты, в отличие от "больших" объектов, достигающих по традиции макроистории. "Малый" и "большой" - понятия относительные. Тщательность описания собственного предмета - качество, которого мы вправе ожидать и от вполне макроисторического исследования. "Как объект исследования "макро" не есть нечто большее, чем "микро"; оно превосходит его лишь своими хронологическими и пространственными рамками" [Валлерстайн, 2003, с. 219]. Инструментальные метафоры ("микроистория пользуется микроскопом") остаются метафорами и не слишком проясняют дело. Мне кажется, что "соль" микроистории состоит в постоянном соотношении ею своих исследовательских задач, объектов и методов с отдельным человеческим индивидом. Индивид оказывается не только (а порой и не столько) *темой* повествования (как в традиционной биографии), сколько *универсальным масштабом и подразумеваемым смысловым центром* при построении микроисториком (затрагивающим, возможно, самые различные темы) его собственной картины прошлого. В других системах видения прошлого таким универсальным масштабом и смысловым центром могут служить, к примеру, "нация", "народ", "класс", "масса", "слой", "герой", "закономерность", "ментальность", "культура", "цивилизация" и многие другие.

Выбор историком объекта изучения, языка его описания (а значит, стоящих за словами концепций) и даже специальных технологий исследования определяется сплошь и рядом отнюдь не когнитивными особенностями его сознания и не личной тягой к тому или иному виду эпистемологического эстетствования - во всяком случае не ими одними. Главными в конечном счете оказываются мировоззренческие установки историка, сложившаяся у него система ценностей. Именно поэтому "основной вопрос" не только философии, но и всех социальных наук в нашем отечестве сегодня не имеет никакого отношения к выяснению того, что первично - дух или материя. Ключевым вопросом, из ответа на который в конечном счете вырастают едва ли не все, на вид даже самые отвлеченные, построения наших социологов (в самом широком смысле слова) является вопрос о моральной оценке советской эпохи.

Основных ответов на него у нас (как и в других постсоветских странах) дается три: два принципиальных и один мудрый. Принципиальные можно назвать апологетическим ("советский строй заслуживает восхищения") и негативистским ("советский строй заслуживает осуждения"). "Мудрый" распространен у нас более всего и может быть выражен максимами "не надо все мазать одной краской", "не все у нас было так уж плохо". На первый взгляд "мудрый" подход предстает взвешенным, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в одном решающем пункте он полностью смыкается с апологетическим: ни тот, ни другой не предполагают нравственного дистанцирования от советского режима. Более того, как тот, так и другой представляют собой разные уровни солидаризирования с ним.

Прямым следствием взвешенности, мудрости и объективности такого рода является размывание и обесмысливание любых моральных критериев: "Конечно, Каин убил

Авеля, но ведь следует учесть, что он так много сделал для развития земледелия..." Или аналогичное, хотя совсем уж банальное в качестве примера отступления от норм политкорректности заявление: "Конечно, нацизм был плох, но при нем исчезла безработица, создали "Фольксваген" и построили автобаны". Для сравнения, негативистская позиция состоит в том, что сначала и Каин, и нацизм без всяких оговорок признаются безусловно преступными, а уж только после такого признания и лишь в его свете рассматриваются как развитие земледелия Каином, так и строительство автобанов нацистами...

Микроисторические штудии при всем их тематическом и методологическом разнообразии объединены, в частности, имплицитным недоверием к претензиям истории на открытие любых "исторических закономерностей", любых "путей в будущее", которые можно использовать в целях социального управления, а значит - в качестве инструментов осуществления господства и насилия. Эта сторона микроистории вряд ли важна в Италии или Франции, но в наших условиях, когда советское наследие в гуманитарном знании (да и не в нем одном) ощущается повсеместно, она весьма существенна. Не думаю, что усилия по преодолению этого наследия должны стать *главной* задачей российской микроистории, но одной из задач - несомненно.

Установка микроистории на соразмерность индивиду сказывается на выборе не только задач исследования, его объекта и методов. Она же меняет язык описания, возвращая его на уровень относительно простого, "человеческого", с высоты "научности" предполагающей изобилие сложной терминологии и иное искусственное усложнение ради придания науке сословного статуса, выстраивания дистанции между посвященными в тайны исторических процессов и простыми смертными.

Микроистория "работает" не потому, что разыскивает пути к обобщениям, альтернативные предлагаемым макроисторией, а потому, что современный индивид *узнает себя* в ее героях, часто отказываясь узнавать себя же в героях традиционных у нас форм макроистории - предлагаемых ими классификациях, периодизациях, процессах и категориях. Мельник Меноккио [Гинзбург, 2000] противопоставит и мирозданию, которое он пытается в меру своего разумения истолковать, и обществу, не проявляющему по отношению к нему солидарности. Чем не портрет нынешнего интеллектуала-гуманитария - что на Западе, что на Востоке - в его экзистенциальном одиночестве? Как и фриульский мельник, он листает книги, временами ортодоксальные, временами не очень. Он не принимает на веру каждое слово, в них сказанное, а старается критически разбирать прочитанное и сплавлять его с личным опытом, худо-бедно приходя к собственным заключениям. Качество его концепций вряд ли выше, чем умствования Меноккио, скорее, фриульский мельник превзошел его глубиной и остроумием, уподобив возникновение ангелов во вселенной появлению червей в сыре.

Недружелюбие среды современных гуманитарий в связи со своими интеллектуальными упражнениями тоже ощущает. Конечно, университетский совет, скорее всего, не отправит его за любые, даже самые странные умствования сначала в тюрьму, а затем и на костер, но негативных "профессиональных" нагрузок на психику у такого интеллектуала хватает. Он смутно представляет себе общественный смысл своей деятельности. Он боится, что "погибнет", если не будет "публиковать" (принцип *publish or perish*), и что будет диффамирован, если опубликованное кому-то не понравится. Весьма сомнительным утешением может служить уверенность в том, что его публикации, скорее всего, никем не будут прочитаны. Эти академические труды носят по своей сути формально-статистический характер - ведь основная, если не единственная их цель состоит не в приращении полезных знаний, а в добавлении новых пунктов к списку публикаций автора. Да и для чего же ему еще и писать, если не для своего послужного списка, раз общество проявляет холодное равнодушие что к его собственным трудам, что к трудам его коллег?

Окружающие не понимали Меноккио и сторонились его, но и нынешний гуманитарий никак не может добиться благосклонности со стороны общества: ни он к нему никак не найдет подхода, ни оно в нем не испытывает нужды. И Меноккио, и тот интеллектуал хотели бы властвовать над сознанием современников, объяснять им смысл мироздания, учить жизни, но современники особенно не прислушиваются ни к тому, ни к другому. Над одним нависает инквизиция, над другим - угроза постепенной маргинали-

зации его самого и его профессионального сообщества в целом, оно же теряет былые амбиции, по мере того как деградирует средний класс, чье участие в осуществлении власти и пользовании общественными ресурсами сейчас на Западе сокращается на глазах в результате демонтажа социального государства, увеличения разрыва в доходах, элитаризации общества, массовых миграций, появления "новых бедных" и иных процессов, также относящихся к числу проявлений глобализации или же связанных с нею. Но трудности Запада, как обычно, предстают не очень страшными по сравнению с их гротескными аналогиями в России. Советский "средний класс" (а был и такой, при всем его своеобразии) за какие-то двадцать лет подвергся катастрофическим трансформациям, распавшись на люмпенизированное большинство и разбогатевшее меньшинство, утратив былой какой-никакой общественный статус и возможность хоть как-то влиять на положение вещей. Что поэт в России, что историк уже несколько не больше, чем поэт или историк, а скорее, даже еще и меньше.

Те или иные неприятности, переживаемые сейчас повсюду средним классом, так или иначе связаны с целым комплексом весьма серьезных проблем конца эпохи "модерна", на которых здесь нет возможности останавливаться. Идея просвещения гипотетического суверена-народа, идея, давшая название целой эпохе, как-то незаметно подменилась идеей манипуляции этим самым "сувереном". Механизмы выражения интересов разных групп общества и трансляции их на уровень, где принимают правительственные решения, все чаще начинают давать серьезные сбои даже в западных странах. А поскольку именно эти механизмы и составляют основу демократической системы, социологи начинают задумываться о приближении эры "постдемократии". В последнем нет ничего невозможного, если учесть, что демократия была составной частью того большого "проекта модерна", который в настоящее время по всем признакам близится к завершению. Грядущее глобальное общество обещает быть *постдемократическим* [Пшизова, 2000].

Вообще-то глобальное общество уже существует, но пока еще в виде августинова "града": есть миллионы, а возможно, уже десятки миллионов людей, работающих в интернациональном секторе всемирной экономики и политики - в международных корпорациях и организациях. И град этот (в отличие от градов у Августина) будет расти из года в год, хотя вряд ли когда-либо охватит все население Земли целиком. Каково место индивида в глобальном обществе? Если судить по устройству крупной корпорации, то не слишком завидное. Корпорация устроена не демократически, а в лучшем случае патерналистски, по своему отношению к индивиду она подозрительно напоминает тоталитарное государство. Мне возразят, что и фабрика строилась отнюдь не на демократических принципах, что не помешало демократической политической системе сложиться именно в фабричную эпоху. Однако фабрика и ТНК - структуры, несопоставимые по масштабу. Крупную корпорацию следует сравнивать и по численности сотрудников, и по организации, и особенно по ресурсам, скорее, с государством средних размеров. Корпорации уже являются субъектами мировой экономики и политики *наряду* с государствами, а потому принципы организации людей внутри этих, в юридическом плане частных структур могут в скором будущем иметь не меньшее общественное значение, чем принципы, укорененные в институтах публичной власти.

Глобализация и историк

Похоже, многое говорит в пользу того, что перспективы у истории вообще, как, впрочем, и у микроистории в частности, отнюдь не радужные. Как же в свете таких перспектив вести себя историку, если у него нет возможности переквалифицироваться, скажем, в менеджера Всемирного банка или в сотрудника аппарата ООН? Во-первых, пример с "Коммунистическим манифестом" показывает, что между вполне ясным обозначением перспектив и их превращением в реальность может пройти немало времени - на несколько поколений вполне хватит. Во-вторых, ведущая тенденция вызывает множество разных видов противодействия, которые не в состоянии остановить основной процесс, но могут придать его результатам более приемлемую форму, и поэтому сопротивление не лишено смысла. Историк оказывается хранителем своеобразия в унифицирующемся мире и в

этой роли может рано или поздно неожиданно для самого себя оказаться в весьма пестрой и пока несколько загадочной компании антиглобалистов [Critical... 2005].

В самом деле, историк кровно заинтересован в недопущении всеобщей стандартизации, в сохранении значимости для общества индивидуальных культур, как существующих ныне, так и прошлых - заинтересован как из высоких идейных соображений, так и из сугубо земных, ведь немаловажная функция истории состоит в конце концов в том, чтобы кормить историков. И наконец, историк (прежде всего в лице микроисторика) превращается из адепта государства, каковым он был в XIX в., в адепта личности, противостоящей унифицирующим тенденциям постсовременности.

Мы помним, что социолог является творцом социального. Поэтому и историк в принципе может стать творцом новых и вполне успешных идентификационных моделей, выстроенных из образов прошлого. Интересно было бы попробовать сплести "заговор историков" с целью такого переструктурирования социальной памяти, которое ослабляло бы негативное воздействие глобализации. Тут бы и "сионские мудрецы" от зависти посерели. К сожалению или к счастью, историк как типаж обычно сам настолько индивидуалистичен, что заговорщик из него не выйдет. Впрочем, даже если все усилия историка заведомо обречены остаться бесплодными, ему, вероятно, все равно придется в ближайшие десятилетия вести арьергардные бои, пускай и без надежды на победу, просто чтобы отступить достойно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ассман Я.* Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
- Бойцов М. А.* "Вперед к Геродоту!" // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2. М., 1999.
- Бойцов М. А.* Откровенные заметки о втором томе "Истории Европы" // Бюллетень Всероссийской ассоциации медиевистов и историков Нового времени. N 7. М., 1997.
- Валлерстайн И.* Конец знакомого мира. Социология XXI века. М., 2003.
- Гинзбург К.* Сыр и черви. М., 2000.
- Карганов В. В.* Конец ордынского ига. М., 1980.
- Копосов Н. Е.* О невозможности микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 3. М., 2000.
- Копосов Н. Е.* Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Избранные произведения в трех томах. Т. 4. М., 1979.
- Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М.* Франция - память. СПб., 1999.
- Пишизова С. Н.* Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // Полис. 2000. N 2 - 3.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2 т. Т. 1. М., 2003.
- Boyrtsov M. A.* No Community without History, no History without Community // Approaches to European Historical Consciousness: Reflections and Provocations. Hamburg, 2000.
- Conceptualizing Global History. Boulder, 1993.
- Critical Theories, International Relations and "the Anti-Globalisation Movement": The Politics of Global Resistance. London, 2005.
- Les lieux de memoire Paris, 1984 - 1993. Vol. 1 - 7.
- Leviathans: Multinational Corporations and the New Global History. Cambridge, 2005.
- Matoba K.* Glocal Dialogue: Transformation through Transcultural Communication. Milano, 2003.
- Mazlish B.* The Global and the Local // Current Sociology. 2005. Vol. 53.
- Medick H.* Weben und Uberleben in Laichingen 1650 - 1900: Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte. Gottingen, 1996.
- Swyngedouw E.* The Mammon quest. "Glocalisation", Interspatial Competition and the Monetary Order: the Construction of New Scales // Cities and Regions in the New Europe: The Global-Local Interplay and Spatial Development Strategies. London, 1992.
- Transnational Corporations and Economic Development: from Internationalization to Globalization. Houndmills, 2005.